

Константин Леонтьев

# Добрые вести



# Константин Николаевич Леонтьев

## Добрые вести

«...Я знаю Оптину пустынь давно, уже скоро 16 лет, с 1874 года. В течение этих 16 лет я посещал ее часто; проживал и прежде в ней подолгу, и зимой и летом, и теперь живу около нее безвыездно, скоро будет четвертый год. И вижу большую разницу, большую перемену к лучшему. Потребность приближения к Церкви, к ее преданиям, потребность духовного руководства возросли на моих глазах.

Все чаще и чаще стал с годами встречать людей, которые приезжают сюда не из одного любопытства и по одному только национальному чувству, которое влечет полюбоваться на нечто действительно русское, на нечто живущее теми началами, которыми жили предки наши, на русский благоустроенный монастырь. Нет! Доказательств очень много тому, что *лично-религиозные* нужды усилились много за последние года...»

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0015
III.....	.0030
IV.....	.0046

**Константин Николаевич  
Леонтьев  
Добрые вести{1}**

Я снова берусь за перо...

Недавно в наш Оптинский скит поступили послушниками двое молодых людей из лучшего нашего дворянства: Ш-ский и Чер-в. Они двоюродные братья. Оба женаты; супруги их молоды и красивы; средства их настолько хороши, что г-жа Ш-ская в своем воронежском имении устроила на свой счет женскую общину, в которой, как слышно, и будет сама назначена настоятельницей.

И мужей, и жен одели здесь в Оптиной в монашеское платье, и обе молодые дамы уже уехали в Воронеж, а мужья остались в скиту.

В последний раз, уже облеченным в подряски, им позволили сходить на гостиницу проститься с мужьями, братьями, и прощанье это, говорят, было до того трогательно, что старый монах-гостинник, человек торговый и вовсе не особенно чувствительный, плакал, глядя на них, и восклицал: «Господи! Да что же это вы делаете! Да как же вы это такие молодые расстаетесь! Да разве это так можно! Боже мой!»

Жили обе молодые четы между собою в полном согласии, и когда одна приезжая дама спросила у г-жи Шид-ской (которой, кажется, принадлежит инициатива во всем этом деле), что побудило их решиться на такой геройский шаг, – она отвечала: «Мы были слишком счастливы!»

Вот это – истинно христианский страх! *Страх от избытка земного благоденствия.* Это высшее проявление того аскетизма, без некоторой доли которого и в мирской жизни нет настоящего христианства[1].

Впрочем, набожны они все четверо были давно. Шид-ские и живя еще дома, в имении своем, соблюдали посты и сохраняли строгое молитвенное настроение. Слышно было даже (не знаю, насколько это справедливо), что они с мужем, по молодости и духовной неопытности своей, брали на себя прежде «неудобоносимые бремена»{2}. Сами ли они позднее поняли, что без опытного руководителя легко сбиться в этом отношении с правильного и разумного пути, или кто-нибудь надоумил их, но они уже несколько лет тому назад начали ездить в Оптину и советоваться

со старцем о<тцом> Амвросием. Они все, и Чер-вы, и Шид-ские, приезжали сюда часто и гостили подолгу, стараясь, видимо, испытывать себя и приучаться постепенно к вечной разлуке. То мужья приезжали одни и жили в монастыре месяца по два и более, то обе молодые супруги гостили здесь без мужей...

Наконец, решение назрело, час пробил – и все четверо вступили на тернистый путь: посвятили себя на служение Богу и Православной церкви нашей!

Не я один изумляюсь и радуюсь этому событию. Многие здесь и радуются, и дивятся.

И надо, конечно, радоваться на такой пример!

Надо радоваться этому случаю, как одному из самых поразительных примеров того религиозного обновления, которое становится у нас все заметнее и заметнее за последние годы.

Важность не в том самом, как обе эти четы совершат весь свой иноческий путь; не в том именно – хорошие ли, примерные ли выйдут из них монахи и монахини, или средние.

Это вопрос личный, индивидуально-духов-

ный. Я же радуюсь теперь на них, думаю не столько о *плодах подвижничества*, сколько о *потребностях веры и подвига веры*; я думаю об идеале, к которому наконец-то стали многие русские люди на глазах моих стремиться, а не о том, насколько они к этому святому и ничем не заменимому идеалу могут приблизиться на практике земной жизни своей. Один приблизится больше, другой – меньше, но важно то, *что религиозное настроение все растет и растет в высших общественных и умственных сферах наших.*

Вот я живу уже скоро три года в уединении; вижу с людьми редко; читаю только одну, иногда две газеты: новостей поэтому много знать мне трудно. А между тем я один на свою долю знаю много примеров, утешительных не только для человека лично верующего, но и для всякого русского, умеющего *правильно любить свою Родину.* Ибо что такое Россия без устойчивости Православия, без искренности православных чувств в сердцах ее лучших граждан?

Я знаю Оптину пустынь давно, уже скоро 16 лет, с 1874 года. В течение этих 16 лет я по-

сецал ее часто; проживал и прежде в ней по долгу, и зимой и летом, и теперь живу около нее безвыездно, скоро будет четвертый год. И вижу большую разницу, большую перемену к лучшему. Потребность приближения к Церкви, к ее преданиям, потребность духовного руководства возросли на моих глазах.

Все чаще и чаще стал с годами встречать людей, которые приезжают сюда не из одного любопытства и по одному только национальному чувству, которое влечет полюбоваться на нечто действительно русское, на нечто живущее теми началами, которыми жили предки наши, на русский благоустроенный монастырь. Нет! Доказательств очень много тому, что *лично-религиозные* нужды усилились много за последние года.

Желание видеть старцев, побеседовать с ними, посоветоваться, благословиться у них, – это только одно из проявлений того настроения, про которое я говорю.

Общество наше все более и более начинает интересоваться религиозными вопросами не для того только, чтобы «Православием, как камнем, бросить в нигилиста», по выраже-

нию Ю. Ф. Самарина, а для собственного просвещения. Чаще и чаще за последние десять лет видишь образованных людей, которые начинают понимать, что одна добрая нравственность, одна чистая этика не есть еще христианство: что основа христианства, *прежде всего*, в правильной вере, в правильном отношении к догмату. Молодые люди высшего образования и лучшего общества, родовитые дворяне хотят учиться богословию, слушают лекции в духовных академиях, желают стать священниками или монахами, – иные и становятся. Другие, всмотревшись ближе в условия монашеской жизни, пугаются трудностей этого пути; но, тем не менее, на них оправдываются слова И. В. Киреевского: «Кто хочет понять истинный дух христианства, тот должен изучить монашество». Следы этого изучения, этого общения с хорошими монахами не пропадают и для мирской нашей жизни, озабоченной и рассеянной.

Идеал высшего отречения, раз усвоенный и разумом, и сердцем, непременно отразится у одного больше, у другого меньше – на лич-

ных житейских вкусах, на государственных чувствах, на семейных правилах.

Монашество уже тем полезно для мирян, желающих утвердиться в христианстве, что оно учит прежде всего *себе внимать, о своем загробном спасении заботиться*, а «все остальное приложится»{3}. И как бы мы дурны ни были по натуре ли нашей, или по неблагоприятным условиям нашего прежнего развития, мы при подобном к *себе внимании*, при боязни согрешить, при памяти о Страшном Суде Христовом, станем все-таки и по отношению к другим людям хоть сколько-нибудь справедливее и добрее.

Монашество учит не стыдиться страха Божия, как стыдятся его многие люди XIX века даже наедине с самими собою. Оно не находит, что этот мистический страх перед несоизмеримой силой уменьшает достоинство наше, – оно полагает, напротив, что этот особый род страха возвышает его, способствуя усилению природных добрых качеств в человеке хорошем и регулируя их; для человека же природно-порочного или слишком грубо воспитанного монашество этот мистический

страх справедливо считает единственным спасением, не только в смысле высшем, загробном, но и для наилучших (по мере сил его) практических отношений к людям. Без этой духовной богобоязненности он был бы еще хуже. Это так ясно и просто, так старо и вечно ново, так верно и так глупо забывается нами. Положим, что все эти взгляды принадлежат не одному только монашеству, а церковному христианству вообще, но время наше, наш сложный, спешный образ жизни в мирском обществе мало благоприятствует сосредоточению мыслей на духовных вопросах, и с этой-то стороны монастыри и полезны, как такие центры, в которых это собирание мыслей воедино и поднятие их до нужной высоты и бесплотности достигается несравненно легче, чем в миру.

Истинное христианство есть, между прочим, и сильнейший противник того рационалистического (но ничуть не рационального, не *умного*), мещанского индивидуализма, который, всех в *одинаковой мере* освобождая и *всякого всем* подчиняя, желает всех сделать одинаково достойными и одинаково счастли-

ВЫМИ.

Истинное христианство (не *выдуманное*, а церковное) признает одно только равенство – равенство всех перед судом Божиим, одну только свободу – свободу воли личной в избрании добра и зла.

И на небе нет и не будет равенства ни в наградах, ни в наказаниях – и на земле всеобщая равноправная свобода (даже и в той неполной форме, в которой она доступна теперь) есть не что иное, как уготовление пути антихристу.

Лет еще пятнадцать тому назад я спросил у одного великого духовного старца:

– Почему бы теперь-то и не процветать христианству? Нравы несомненно стали мягче; люди стали как будто жалостливее: боятся жестокостей, стыдятся их совершать. Отчего бы не соединить это с верой? Говорят много о любви; но разве любовь состоит в одном только опасении причинить физическое страдание ближнему: не пытаться, не казнить, не сечь, не бить? Отчего же не любить и власть, начальство, духовенство? И богослужение, и родину, и войско, и государство? И во всех

этих отношениях найдется место добрым и мягким чувствам... Озарить бы все этой верой и любовью к вере... Это так естественно, так самому приятно, и даже поэзии в этом чувстве так много!

– Нравы, правда, много смягчились, – отвечал старец. – Но зато самомнение у множества людей чрезмерно возросло, – увеличилась гордость. Не любят уже повиноваться никаким властям – ни духовным, ни светским: не хотят. Постепенное ослабление и упразднение властей есть признак приближения царства антихриста и конца мира. Одной мягкостью нравов христианства заменить нельзя.

Вот вся совокупность подобных монашеских влияний и полезна мирянам, желающим, как я сказал, утвердиться в *истинном* христианстве, не заменяя его сентиментальным учением *неверующей любви*, которое не только неприложимо на практике запутанной жизни нашей, но даже противно своей фальшивостью и ложью.

Когда речь идет о современном русском монашестве, нельзя не вспомнить о жалобах, которые приходится нередко на него слышать. Осуждения недоброжелательства в либеральном духе, как придирчивые и глупые по существу, – я оставляю в стороне; я хочу сказать несколько слов лишь о тех жалобах, которые можно назвать жалобами доброжелательного усердия.

Люди умные, религиозные люди, желающие видеть в иноках образцы добродетелей, досадуют (и часто весьма основательно) на то, что большинство монахов нашего времени слишком уж *недалеко понятиями*, слишком грубо, *серо*, жестко, нередко гораздо жестче благовоспитанных и тонких чувствами мирян.

Это отчасти правда.

Но кто же, прежде всего, виновен в этом, как опять *не мы же!*

Мы, представители передового сословия, – мы люди благовоспитанные, привычками тонкие, сердцем гуманные. Не мы ли отступи-

лись от монастырей? Не мы ли забыли о громадной, о ничем другим не заменимой важности *их учения* не только для нашей личной дисциплины, но и для строения государственного, и даже для умственной независимости нашей от Запада, неуклонно и слепо стремящегося к *той самой всеобщей равноправности*, к той самой ненависти к подчинению, на которую указывал старец, как на вернейший признак *приближения конца!*

Не мы ли, люди с «рыцарскими» преданиями, воспитанные на благородных, романтических и утонченных идеалах, – не мы ли, увлекшись вослед за стареющей Европой во все ее новейшие, пошлые и плоские вкусы и мечты, – предоставили господство в монастырях купцам Островского и сыновьям церковных причетников?

И не их корить надо, а нас, дворян, зато, что русские монахи грубее и ограниченнее, чем они могли бы быть, если бы в их среде естественно преобладали люди высшего образования.

Конечно, святые люди выходили и будут выходить из всех сословий; но истинные свя-

тые были всегда исключениями; а хорошо бесспорно и то, чтобы средний уровень монашества (и вообще духовенства) был бы выше. С этим нельзя не согласиться.

Монастыри – учреждения хотя и *священные*, но все же таки и *человеческие*. (*Богочеловеческие*, как любит обо всем религиозном выражаться Влад<имир> Соловьев.) Поэтому и в них, как и во всей церковной жизни, человеческое начало остается верно и своим душевно-естественным законам. Как бы ни проникался инок общим и даже наивысшим духом монашества, он непременно сохраняет в себе некоторые привычки и склонности своего времени, своей национальности, своего сословного воспитания и своей личной натуры.

Купцы Островского и сыновья церковных причетников, господствовавшие последние два века в русских обителях, послужили как *умели* и как *могли* Православию верой и правдой.

Они работали Богу (а косвенно и Царю, и народу) – по совести, *по мере своего разума* и по характеру своих сословных привы-

чек и вкусов...

А мы? Много ли было из нашего круга за последнее столетие – великих подвижников, замечательных настоятелей, духовных старцев? Известные чем бы то ни было за все это время монахи из дворян – все наперечет. Я говорю *только известные* чем бы то ни было, – я у же не говорю *прославленные* святостью, – заметьте.

К тому же не надо упускать из виду и то обстоятельство, что когда количество людей, переходящих из одного сословия в другое, очень мало, то они неизбежно подчиняются привычкам и понятиям подавляющего большинства. И если при этом самобытная работа мысли у человека не особенно сильна, то он очень легко смешивает то *существенное*, что принадлежит и *должно принадлежать* новому обществу, которого он стал членом, со всем несущественным и случайным, могущим, не расстраивая основ известной социальной группы, изменяться к худшему и к лучшему. Монастыри суть учреждения весьма устойчивые и малоподвижные по *основам* своим – по преданиям, уставам, по духу уче-

ния, но они весьма подвижны по *личному составу* их членов.

Всякий может стать монахом и всякий вносит в монастырь кой-что от привычек, вкусов и понятий того сословия или класса, в котором он родился и рос; особенно это резко, если он поступил не слишком молодым. Дворян родовитых, образованных по-светски и умственно, в уровень века развитых, было у нас до последнего времени в монастырях очень мало, и потому естественно, что и они, погруженные в толпу крестьян, торговцев, мещан и церковников, утрачивали много и таких свойств, которые, при других условиях, они могли бы сохранить с пользой для общества и без вреда для личного своего спасения. В монастырях такого рода утратам благоприятствует к тому же и *самое учение*; надо отсеять волю донельзя, надо повиноваться, надо смиряться. И вот, в среде преобладающих и *иначе воспитанных людей* (вообще *посерее*) вместе с плевелами *личными* выдергивается и кой-что из той *пшеницы*, которую посеяло в людях более тонкое и высокое домашнее и словное воспитание.

А если бы дворян и вообще людей высшего образования было бы в обителях наших больше и *они заслугами своими и подвигами удаивались бы* почаще начальствования, то, конечно, это отразилось бы неизбежно на привычках целых монашеских общин и *на само мирское общество монастыри имели бы больше влияния.*

Мы, дворяне русские и представители высшего воспитания в России, – мы более всех виноваты в том, что монашество наше, руководимое или купцами старого закала (т. е. людьми вовсе неучеными), или детьми церковников (людьми, пожалуй, и учеными, но вовсе не благовоспитанными), серо, отстало, грубовато и непонятливо.

Разумеется, средний уровень монашества нашего много бы поднялся, если бы оно находилось под влиянием и руководством людей, которые сами бы стояли на высшем современном уровне и, совмещая в себе образованность и благовоспитанность с искренней верой, смотрели бы на обе первые силы свои лишь как на служебные – для второй, для веры.

Это несомненно так. Но при этом, однако, не надо забывать и того общего правила, что монашество всегда было и будет при самых лучших условиях все-таки исполнено нравственных несовершенств.

Оно было таковым еще во времена святоотеческие, и мы можем найти по этому поводу много поучительного не далее, как в житиях. (Напр<имер>, в житии св<ятого> Пахомия Великого. См. сон его – монахи, идущие изорва в гору и падающие снова вниз{4}).

Несовершенство и греховность монашеского большинства *даже необходимы для высших целей иночества.*

Если бы все монахи были ангелоподобными, не только по стремлению, по идеалу, но, так сказать, по достижению, – то не могли бы вырабатываться в монастырях святые люди, великие подвижники и старцы. К телесным понуждениям человек привыкает скоро, особенно если он рано поступил в обитель; но скорби душевные, несправедливости, насмешки, клеветы и обиды – переносить очень трудно во все года. Если бы в монастырях не было вовсе грубости, жесткости, вражды и

обид, то как же бы выработывались примерные и мудрые иноки, которые, достигши полной духовной зрелости своей, служат светочами и для своей братии, и для нас, мирян? Ведь самолюбие и тайная гордость преследуют до могилы всякого человека, и святые не могут быть *вполне* чужды их движениям. Но они умеют быстро и мгновенно тушить в себе их огонь сознанием, покаянием, смирением. И алмазы находятся не в куче дорогих и близких к ним по цене изумрудов и рубинов, а в каких-нибудь простых и грубых камнях.

Для большинства монахов при самых лучших условиях со стороны того мирского общества, из которого они выходят, достаточно искренней веры в святость того учреждения, которому они служат, и преданности ему. И среднего уровня в монашестве нелегко достичь, а очень трудно. Мы замечаем только слабости; Бог же видит все тайные усилия, все болезненные внутренние жертвы – и самых слабых подвижников, и самых грубых людей. Только *поймите* монашество, и оно будет полезно вам даже и в теперешнем составе своем.

Общие взгляды у большинства монахов узки, формы грубы; дух управления и отношений к мирянам слишком уж хозяйственный, но основы учения у всех у них правильны, и предания, свято хранимые, в высшей степени наставительны.

Я даже позволяю себе думать, что в наше время нужно считать не совсем оконченным христианское воспитание того человека, который не дал себе труда познакомиться с монашеским учением, не искал общения с истинно духовными людьми.

И вот в этом-то смысле, между прочим, поворот за последние года у нас весьма благоприятный. Примеров у меня много, и мне очень жаль, что обычай не позволяет мне называть все имена. Еще живя в Москве пять-шесть лет тому назад, я знал студентов, которые обращались за советами и благословением к отцу Варнаве в Троицкой лавре и следовали его указаниям.

Отдадим здесь, кстати, еще раз честь и Каткову. Студенты его лицея особенно склонны к религиозности.

Приезжают и сюда многие молодые люди

посоветоваться со старцами. Один, кандидат Московского университета{5}, человек по всем признакам с будущностью, приехал сюда два года тому назад благословиться на неравный брак с девушкой простого звания, которую он любил. Он и ее привез с собою. Старец благословил охотно; они обвенчались и живут теперь счастливо. Другой, тоже окончивший университетский курс в Москве{6}, юноша весьма даровитый и характером смелый и самобытный, страстно желал пойти в священники, но он не хотел отдаться своему влечению, не испросив здесь на этот шаг благословения. В семье его были этому серьезные препятствия – отец его православный, но мать католичка, и она приходила в ужас от мысли, что сын ее будет схизматическим священником. Она тревожила совесть религиозного сына угрозой, что ей перед смертью ксендзы не дадут причастия.

Старец сказал, чтобы он этого не боялся.

Теперь этот молодой человек уже скоро год как священником в одном из значительных городов Западного края и судьбой своей доволен.

Был недавно здесь еще и третий юноша, тоже москвич, студент первого курса, всего двадцати лет, из хорошей семьи, видимо со средствами и связями, живой, горячий, симпатичный, собою красивый. Он тоже мечтает так или иначе послужить Церкви – обдумывает проект общества для усиления христианства в образованной среде и до того увлечен своими широкими мечтами, что для пользы самого дела нужно его немного охлаждать и учить терпению.

Со всех сторон слышишь вести этого рода.

Тут – молодой еще, богатый, блестящий и влиятельный помещик, который даже и на Страстной неделе постоянно ел мясо, с нынешнего года стал соблюдать посты, хоть на рыбном.

Там – тридцатилетний богач-фабрикант весьма известного имени, прекрасно образованный, служивший в ранней молодости в лейб-гусарах, после почти случайного посещения Оптиной и после двух-трех уже решительно случайных встреч, хочет впервые вникнуть в смысл православного учения и запасается богословскими книгами.

Один публицист из дворянского рода, человек тоже средних лет, способный и увлекающийся, давно уже писал пламенные статьи в духе славянофильства и Православия; сам же до запрошлого года не только не соблюдал постов и в церкви редко бывал, но даже *пятнадцать лет подряд* не говел. Один из его знакомых вздумал показать ему письмо постороннего лица. В этом письме шла речь о вере вообще и, между прочим, и о нем самом, об этом публицисте. «Он пишет статьи в защиту Православия – это, конечно, хорошо (говорилось в письме); это гораздо лучше, чем писать в ином духе. Но сам-то он православен ли? Ведь он, я знаю, поступает так-то и так-то (как выше сказано). Не подражай ему. Прежде чем учить других, учитесь сами быть православным» и т. д.

Нескромность знакомого, решившегося без спроса показать писателю это чужое письмо, сделала пользу. Славянофил принял все это умно и добросовестно. Сознался в своей вине, говел, исповедовался весьма серьезно у одного из лучших столичных священников и после этого даже обращался письменно к стар-

цам с вопросами по своим семейным делам.

Очень недавно, прошедшей осенью, приехал сюда из другой губернии молодой пруссак-агроном, – очень развитой, способный, а не какой-нибудь – «несчастный». Он управлял имением у г-на Б-ва и был принят дружелюбно в его семье. Семья религиозна и благовоспитана. Пруссаку Православие этой семьи так понравилось, что он по совету г-жи Б-ой приехал сюда надолго, почти каждый день ходил к старцу; читал книги, указанные им, и принял Православие. Теперь он нашел себе в этой стороне хорошее место и задумал даже стать русским подданным. Подозрительные люди есть везде, – и здесь нашлись такие лукавствующие умы, которые не хотели отнестись к этому случаю прямо и просто, а стали придумывать тайные поводы и расчеты; говорили, что у него где-то есть невеста, богатая русская барышня, которая согласна за него выйти, но только в том случае, если он переменит веру. Оказалось, что никакой подобной невесты у него нет. Я познакомился с ним, и он производит на меня впечатление искреннего и очень умного человека. Он говорил мне,

между прочим, что приходское наше духовенство никогда бы не могло обратить его: оно ему очень не нравится; но подействовали на него прежде всего люди прекрасной и набожной дворянской семьи, а потом – оптинские старцы.

О пострижении в монахи на Кавказе князя Бориса Петровича Туркестанова{7}, еще недавно полагавшего начало тоже здесь, в скиту, в «Гражданине» печатали. Я и его знаю, конечно, – и он тоже весьма образованный и умный молодой человек.

Прошлого года мне писали из Западного края, что там двое гвардейских офицеров рукоположены в священники.

Теперь оттуда же сообщают, что один офицер инженерной академии желает того же.

О *враче* Оболенском, который в Петербурге постригся в монахи, я вчера прочел в «Гражданине» (№ 54).

На днях здесь был еще один гвардеец. Он, как слышно, советовался с духовником – тоже о принятии священства.

Уверяют, что в Калуге такое же намерение имеет один офицер Киевского полка.

Прошлым летом здесь гостил с неделю и принимал участие в соборном богослужении 20-летний священник от<ец> Сергей Веригин (женатый на граф<ине> Мусиной-Пушкиной); он состоит приходским в своем собственном имении, Пензенской губ<ернии>. Он посещал и меня, и мы с ним не раз подолгу беседовали. Я был до крайности утешен этим знакомством.

Один вид *такого* юноши в рясе, один вид такого изящного иерея – русского – и тот донельзя приятен.

Разве это не *добрые вести*, если все взять в совокупности?

Ведь все эти частности, все эти отдельные случаи и примеры – они признаки и проявления чего-то общего и в высшей степени замечательного.

Есть и другие признаки.

Еще в бытность мою в Москве я видел (да и не я один, конечно, а многие) этот поворот к лучшему. Студенты, еще года четыре тому назад, говорили мне, что очень многие из университетских товарищей их уже не относятся к религии столь враждебно и столь презрительно, как относились прежде; прежде большинство их отвергало Бога; теперь они говорят: «нельзя отвергать бытие Божие *рациональным* путем; *нельзя* научными приемами доказать, что *Бога нет*».

И эта перемена основной точки зрения в молодом уме – очень важный факт!

Эти юноши, эти неопытные люди будут через два-три года полноправными гражданами – супругами, отцами, воинами, судьями нашими, наставниками, правителями.

Эта сначала как бы едва заметная точка философского поворота в молодом уме может со временем повести далеко. Точка эта подобна стрелке на железных путях; один поворот какого-то колеса – и путь предстоит иной,

быть может, совсем противоположный.

На *чистом деизме*{8} остановиться надолго не может человек живой, человек с сердцем, и потому именно, что он с сердцем – наклонный страдать и все в жизни сильно чувствовать. Такого человека скорее удовлетворит полное отвержение: оно, по крайней мере, по-своему покойно и последовательно.

Но чистый деизм холоден и сух. Раз я допустил личного Бога, раз я признал, что механизм мироздания должен подразумевать *сознательного* механика, я вынужден уже одним холодным разумом допустить и постоянное вмешательство этой миротворящей силы, постоянное исправление и направление механизма... И я *сам* – частица этого необъятного целого; частица и бессильная, и в своих пределах могучая, и такая ничтожная и всеобъемлющая, вечно томящаяся и чего-то ищущая и жаждущая, – не захочу ли я скоро и сердцем приблизиться к этому уже признанному моим разумом живому и личному божееству? Не захочу ли я его помощи и защиты в тайниках и глубине вечно болеющего сердца моего? Не захочу ли молиться? Не захочу ли

скоро знать, *чего* именно от меня требует Бог? Не пожелаю ли потщиться исполнять его требования, его заповеди?

И вот еще шаг – приближение к «алтарям» его! Иначе не будет ли этот Бог тем «бесполезным Богом, который не требует алтарей», как прекрасно выразился несчастный Альфред де Мюссе, всю жизнь тосковавший о своем бессилии и неумении возвратиться просто, прямо и твердо в лоно католической Церкви.

Когда мы слышим, что молодые люди высшего образования говорят так: «Нельзя доказать, что нет Бога; нельзя научными приемами опровергнуть возможность его бытия», – что это значит?

Это значит, что *сердцам их желательно*, чтобы Бог был, и *они рады*, что разум их разрешает им *верить в него*.

– Можете верить! – говорит им этот разум (который они так еще глубоко чтут по неопытности своей)... Можете верить: этим вы не погрешите против моих законов!

Итак, разум позволил бедному, молодому и горячему сердцу верить...

Оно вольно теперь! Самолюбивому юно-

пешкому стыду перед «наукой и современностью» уже нет теперь места...

И если сердце, в самом деле, *хочет* веры, если оно жаждет единения души с Богом, то ему и нетрудно будет сделать еще один небольшой шаг, легко будет допустить еще одно движение:

– Боже! Я жажду верить! *Помоги моему маловерию!*{9} И вот уже молитва... Самая первая и самая лучшая в наши дни... Вот уже первый шаг приближения к Богу.

«У Бога путей много», – говорят справедливые набожные люди... Те из них, которые наблюдательнее, могут привести много примеров обращения, под влиянием самых разнообразных впечатлений и событий, встреч, разговоров и чтения. У многих забытое, пренебреженное чувство чего-то высшего, таинственного, мистического таится, однако, на дне души, как огонь под пеплом – по старому и верному уподоблению, таится до первого случая, до тех пор, пока какое-нибудь сильное впечатление не поможет этому огню разгореться.

Давно, уже лет слишком двадцать тому на-

зад, я ехал на дунайском пароходе с одним русским моряком. Мы были давно знакомы, почти дружны. Разговор при других свидетелях зашел между нами о вере. «Я ничему *этому*, по правде сказать, не верю!» – воскликнул моряк.

Я сам тогда был еще вовсе не утвержден как следует; я едва-едва стал выходить тогда из какого-то красивого, но неясного пантеистического тумана, в котором долго жил, безнравственно и весело; но я уже желал из него выйти и чувствовал, что во мне не вовсе умер, а где-то глубоко таится православный человек. И, руководясь этим смутным, но неугасимым внутренним чувством, я возразил ему так:

– Не ручайтесь, что в Вас вовсе угасло религиозное чувство, – быть может, оно только уснуло. Я попрошу Вас, например, подумать и ответить мне откровенно, что бы Вы избрали, на которую из двух жестоких вещей Вы бы согласились, если бы третьего пути не было: убить человека, на поединке, на войне ли или просто из личного гнева, или взять чашу со Святыми Дарами, положим, вылить на зем-

лю и растоптать ногами? Скажите?

Моряк покраснел, пожал плечами, улыбнулся и сказал: «Ну, конечно, убил бы человека. Я об этом не подумал... Пожалуй... Кто знает... может быть, Вы и правы...»

Сохраняется это чувство в глубине сердца нашего не только благодаря семейным влияниям, но иногда и вопреки им. Я знаю одну очень умную и весьма образованную русскую женщину, которая росла в <18>60-х годах и была воспитана отцом-безбожником и ненавистником всего церковного; мать же ее была ничтожная и почти слабоумная женщина. Отец любил ее страстно и самоотверженно; но *ей* своя семья, сухая и мрачная, не нравилась, и ее тянуло ко всему тому *именно*, что на дух ее семьи было не похоже. Так, шаг за шагом она еще в молодых годах начала стремиться к Церкви и очень скоро сделалась пламенно и просвещенно-религиозной женщиной.

Раз молодому человеку в наше время (еще не совсем отрешившемуся от старой привычки чрезмерно поклоняться разуму и своему, и коллективному), раз этот самый разум дал,

так сказать, рациональное разрешение верить, все ресурсы воображения, сердца, воли и опять ума же могут пойти на пользу. «Путей много!» Любовь к семье, если она религиозна и привлекательна; потребность иной душевной опоры, если в семье тяжело; любовь к народу и народному; жажда сближения с этим простым народом на общей идеальной почве. Поэтическое влечение к образам и формам жизни родной старины, которую, слава Богу, и до сих пор еще не дотла вытравил у нас европейский прогресс. Вообще чувство прекрасного, художественное чувство, которое, с одной стороны, не может не оскорбляться глубоко-прозаическими формами европейского прогресса и его деревянными, однообразными идеалами, а с другой – не может же не видеть, сколько есть поэзии и в морали евангельской, и в богослужении православном, и в учении аскетическом.

Путей много, повторяю я. Самые противоположные чувства могут способствовать утверждению веры *в том, кто уже ищет ее*, в том, кто перестал *избегать* ее, кто перестал ее стыдиться.

К вере могут привести и любовь, и отвращение, и радость, и горе, и сильные внезапные потрясения, как у энергичического натуралиста Северцова, который открыто признавался, что стал в первый раз молиться тогда, когда попал в плен к жестоким коканцам и был ими заперт в каком-то ужасном месте. И с тех пор, освобожденный, он уже Бога не забывал. Воспоминание о Боге, о помощи его свойственно людям и без внезапных, сильных опасностей и потрясений, но вообще в более тяжелые минуты жизни; так случилось с гениальным Пироговым. Пирогов, сверх того, говорит в записках своих, что, молясь Богу в трудные минуты, он нашел потом уже *противным человеческому достоинству забывать о нем в довольстве и радости.*

Вникнем в это признание великого врача и спросим себя, какого рода чувство заключено в этих словах его? Конечно, некоторого рода *гордость* или, пожалуй, самолюбие перед самим собою; *стыд* перед собственной самооценкой. Не надо пугаться подобного анализа: он ничуть не унижает самого Пирогова и не обесценивает характера его религиозно-

сти. Конечно, это «немоощь», как любят выражаться монахи, но немоощь такого общечеловеческого, неискоренимого рода, от которой не всегда свободны и самые высшие духовные подвижники. И святые, как я у же напоминал прежде, не были вполне бесстрастны, а на первых и даже на средних ступенях обращения такого рода тонкое движение гордости, или такого рода тайный самолюбивый стыд – могут быть в высшей степени полезны для дальнейшего развития религиозности. Чувство, в котором так честно и мило сознается Пирогов, не особенно *духовно*, но оно *ведет* к духовному. Человек не хочет унизиться в собственном мнении: он считает низостью – не молиться в довольстве и радости тому Богу, которого он призывал, когда ему было тяжело. Это чувство *понудит* его, положим, в церковь сходить лишний раз; в церкви он сосредоточится, получит еще несколько лишних и, быть может, новых религиозных впечатлений. После этого он захочет и еще раз себя понудить; вспомнит, что только «*нудящие себя* восхищают Царство Небесное»{10}, и привыкнет мало-помалу все больше и

больше понуждать себя для Бога. А это, мне кажется, *третий* из самых важных начальных шагов для утверждения религиозности в колебавшемся дотоле образованном человеке нашего времени.

*Первый шаг* (для *такого* человека, я не говорю: для всех людей) – это то *разрешение* разума искать веры и верить, о котором я говорил. Второй шаг: *приобретение страха Божия*, а третий – *привычка к понуждению* себя, вопреки лени, вопреки развлечением, вопреки слишком дерзкой надежде на всепрощение Божие, вопреки напрасной и чрезмерной боязни потерять на молитву и другие дела веры время, дорогое для нескончаемых житейских дел.

Поэтому, говорю я, все чувства наши, не только самые высокие и чистые, но и такие *средние*, как небольшая гордость[2] и самолюбие, в связи с другими, лучшими, и растворенные страхом Господним, боязнью согрешить, могут нередко сослужить нам прекрасную службу на пути христианском. Иногда и самая большая гордость *ума против других людей* может, при добром изволении, укреп-

лять человека в его стремлении к Богу и располагать его к смирению перед учением Церкви.

Я люблю приводить живые и наглядные примеры.

У меня был друг. Его уже нет теперь в живых. Он был человек чрезвычайно умный, мыслящий, весьма начитанный и выросший смолоду на естественных науках. Но ему рано стало душно в «их рамках», как он сам любил выражаться. Он начал с того, что стал читать метафизические сочинения и радовался, что горизонт его расширился. Богословием он еще в то время тяготился и об аскетических писателях только слышал изредка от других; умственная почва его была готова; была у него и любовь к русской вере; были и кой-какие, хотя и довольно слабые, религиозные воспоминания детства. Не было ни страха Божия, ни любви и доверия к учению Церкви.

Позднее посетили его жестокие утраты и скорби. Я встретил его опять уже вполне христианином по убеждениям. В жизни он был все-таки очень страстен, влюбчив, чувствен, невоздержан, честолюбив, сердит, и он не

только бил себя в грудь, как евангельский грешник, – он боролся, старался исправиться, молился постоянно об усмирении страстей своих. Он признавался мне со всем жаром искренности и дружбы, что он донельзя развратен воображением, и не раз случалось, что, предпринимая какое-нибудь весьма грешное дело, он или один в комнате своей, или даже на улице, остановясь перед церковью, восклицал: «Боже праведный, не *могу иначе!* Прости мне!» Шел – и грешил. Господь послал ему хорошую, мирную и христианскую кончину живота. Последние десять лет он прожил, разумеется, не безгрешно в духовном смысле (это невозможно), а по-житейски говоря – безукоризненно.

Я уже тогда, когда мы второй раз в жизни встретились с ним и видались часто, и сам стал понимать, *что чувствует* человек многострастный, но искренно верующий; я стал понимать и жестокую боль, и неизъяснимую радость глубокого покаяния – и потому борьба этого рода (столь редкая в наши времена) меня не удивляла. Я понимал, что человек, перейдя в деле веры некую таинственную и

ему одному понятную черту, не может уже вернуться назад к безверию; я знал вместе с тем у же хорошо и по теории аскетической, и по личному опыту, что от этой черты еще очень далеко и не только до бесстрастия духовного, но и до приблизительного умения управлять душевными влечениями своими в христианском духе. Это я все понимал и с этой стороны не требовал у него объяснений, довольствуясь тем, что ему угодно было самому о себе мне рассказать.

Но меня особенно интересовал тот вопрос, как он справился с прежними *идеями* своими и со своей разнообразной и обширной начитанностью. Я спросил его об этом.

– Как, например, пошатнулась в Вас вера в тех западных мыслителей, которым Вы прежде так сочувствовали?

– Помогла мне гордость моего ума и отчасти моя природная безнравственность, – сказал он. – Я видел, что они все противоречат друг другу и все дополняют друг друга; видел, что все они в чем-нибудь правы и во многом неправы. Ошибки их были мне ясны. Простые материалисты грубы и никогда не удовлетво-

ряли меня. Дж. Ст. Милль хорош, но он не последователен до невероятной степени. Прудон последователен, но он в выводах своих, по-моему, почти глуп. Кто ему сказал, например, что история человечества есть история постепенного утверждения правды или справедливости на земле? Разве я обязан этому верить? Я этого не только не вижу, но, по совести сказать, ничуть и не сочувствую этой скучной всеобщей казенной морали. И почему еще, другой Вам пример, обязан я сочувствовать его рационально-нравственной семье?.. Да, по-моему, черт ее возьми совсем, такую семью! Шопенгауэр местами мне вовсе недоступен: я просто не понимаю, о чем он говорит. Но почему же (думал я) мне непременно предполагать, что в этом непонимании я виноват, а не он, своей неясностью? Я рассказывал Вам о моих страданиях, о моих сердечных потрясениях... И когда я захотел найти опору, отраду и руководство в Боге христианском, в Боге догматическом, позвольте мне так выразиться, – ни один из этих мыслителей не оказался в силах помешать мне. Ни один из них не смог вполне подчинить себе

мой разум. Он был свободен, и я из этих же мыслителей стал брать для большего утверждения моей веры то, что находил пригодным. И все они стали служить моей вере, стали по моей дудке плясать. У Шопенгауэра была *воля*, было *желание* не верить в Личного и Троиственного Бога, а *моя воля* верить в Него. Неизвестно еще, кто правее. Ошибались все мудрецы и ошибками своими были, заметьте, очень довольны. Если и моя вера ошибка – не беда: я ею доволен, утешен, счастлив ею... И кончено! Я понимаю, что могу *мой* разум безусловно покорить началу высшему и невидимому или Церкви – вещи в одно и то же время и живой, и безлично отвлеченной; но по какому побуждению я покорю мой своенравный ум такой или другой человеческой школе, или такому или другому умному и ученому человеку? Я еще это, пожалуй, и унижением нахожу; во всяком случае, гораздо большим, чем покорить его мистическому началу не только в лице добродетельного и разумного священника, но и в лице какого-нибудь юродивого, если меня влечет к нему сердце. Умные и ученые люди! Я сам, Вы знаете,

умен, ну, а большая ученость – тоже известно – не всегда ума прибавляет...

Вот каким образом даже и гордость ума, и природное нерасположение к морали могут способствовать к утверждению веры. «Сила Божия и в немощах наших познается»{11}.

И если правы были те студенты, которые несколько лет тому назад уверяли меня, что многие из товарищей их начинают склоняться к тому, что «научно нельзя отвергнуть личного Бога», то это, конечно, весьма утешительный признак!

Нужно только, признавши разумом, что сердце имеет право веровать в него, делать так, как делал мой покойный друг: все познания свои, все теории и взгляды и мнения людей, знаменитых ученостью или гением, и даже слабости свои обратить смело и свободно на служение этому Богу. Совершенством не будешь, а помоги нам, Господи, только внимать себе и молиться!

## IV

До сих пор я говорил почти исключительно о мужчинах, потому что их религиозность несравненно важнее женской. Надежды серьезные надо основывать на такой религиозности, которая в силах *перерасти* рационализм и отрицание, а не на такой, которая *еще не доросла* до них, — на такой вере, которая умеет справляться с требованиями научно-образованного ума, а не на такой, при которой эти требования слабы.

Религиозность мужчин почти настолько же важнее религиозности женщин, насколько вера людей ученых, богатых и благовоспитанных важнее веры людей простых, бедных, невлиятельных и неученых.

Женщины рано или поздно идут вослед за мужчинами точно так же, как сельский и вообще рабочий класс рано или поздно уступает идеям и вкусам классов, более образованных и богатых.

Конечно, и религиозность простого охранения, религиозность одного сердца хороши, за неимением лучшего. Когда уже иссякла

всякая надежда на религиозность *развития*, на религиозность *мысли*, то и они полезны, как тормоз, задерживающий разрушение.

И так как это уже всеми признаваемая аксиома, что у мужчин (и тем более у мужчин современно образованных) ум преобладает над чувством, то разумеется, вся сила в них. Куда склонится течение мыслей у наиболее развитых и влиятельных мужчин, туда позднее пойдут за ними и женщины, и народ.

Но если мы признали, что вера чистосердечная (женская и народная) полезна даже и в те времена, когда передовые мужчины охлаждаются к религии, то в такую эпоху, когда, напротив, у этих передовых мужчин начинает замечаться отвращение к рационализму и безбожию и является поворот к вере, — женская религиозность своей беззаветностью и симпатичностью может удесятерить возрастание религиозных сил в целом обществе нашем.

Религиозное же движение теперь и среди женщин усиливается.

Женские общины, например, у нас открываются беспрестанно, и они полны. Идут в

них теперь с большим увлечением не только вдовы или пожилые девицы, но девушки – очень молодые, красивые, благовоспитанные; иные даже с весьма хорошими средствами.

Здесь, например, в 15 верстах от Оптиной, при помощи и попечительстве оптинских старцев в течение каких-нибудь 5 лет из ничего создалась Шамардинская Казанская община, и теперь в ней уже более 400 сестер. Число образованных и обеспеченных женщин и девиц в настоящее время уже очень велико – и все растет. Есть и курсистки, есть обращенные из нигилизма. Я полагаю, что и это может служить доказательством тому, как возрастают в нашем обществе православные чувства за последние года.

Дело, конечно, не в том, чтобы большинство девиц, вдов и жен, расставшихся с мужьями, стало монахинями, – это не нужно, невозможно и никогда не случится.

Но расчет здесь тот, и очень ясный, что монашество (даже по признанию людей вовсе не особенно церковных) есть *высший идеал* христианства. Если есть довольно много умов и сердец, ищущих идеала высшего, то непре-

менно будет в обществе еще несравненно больше таких характеров, которые удовлетворятся средним идеалом – идеалом христианства семейного и в этой средней сфере будут достигать *своего рода наивысшего* совершенства и достоинства.

Охлаждение к идеалу высшему, отвращение к его крайностям влечет за собою очень скоро глубокий упадок и того среднего состояния, которое сначала большинству казалось достаточным.

Протестантство отвергло все то, что в римском католицизме ему казалось крайностями, и в первое время своего торжества оно действительно было как будто искреннее, чище, святее и возвышеннее католичества. Но прошло всего четыре века, и что же мы видим? Протестантство угасает и разлагается само собою и само в себе, без всяких почти внешних посягательств. А кто возьмется решить: какая еще будущность предстоит католичеству? Протестантство сохранило в себе только все среднее; оно лишило себя всех тех центров накопления религиозных сил, которые в католичестве сохранились: монаше-

ских орденов, папской и *действительной* епископской власти, обрядов и т. д., – но именно из этих-то «крайностей» и исходит в эпохи охлаждения то подновляющее действие, которого средние формы никогда дать не могут.

В обществе все живет в глубокой связи и движется во взаимном, нередко весьма тонком, мимолетном и сразу едва заметном, но глубоком психическом влиянии.

Одна молодая, красивая и вовсе не бедная девица идет в монастырь; другая – приезжает туда молиться, знакомится, узнает и начинает уважать основы учения, которое до тех пор казалось ей чуждым и даже противным; она выходит замуж; привозит потом с собою мужа и детей и т. д.

Многие монахини находятся под духовным влиянием игуменьи (если она сумела внушить к себе доверие). Хорошая игуменья всегда ищет себе старца-руководителя. Через все эти прямые и косвенные воздействия – и семейные миряне приобщаются аскетическому учению и вносят его в свои дома. А что такое это аскетическое учение, как не учение

*воздержания* вообще и *регулирование* наших чувств и действий во имя Господне?

Я знаю довольно коротко одну почтенную и примерную столичную семью. Отец – практический деятель{12}, высоко стоящий на ступенях нашей государственной иерархии. И он сам, и достойная глубочайшего уважения супруга его, и молодые дочери, и сын, сам уже женатый, человек светский, превосходно и утонченно образованный, – все они искренно православные люди и все издавна состоят в сердечном общении с духовными старцами.

Глядя на эту семью и любуясь на нее, я часто думал, что она сама по себе, по характеру людей, ее составляющих, быть может, и без религиозности, была бы нравственна и согласна. Может быть; но сколько бы поэзии и сколько смысла утратила бы она без этой религиозности, без этого мистического озарения, без этого общения со старцами, без этой любви к монашеству! Когда видишь, что этот бодрый семидесятилетний сановник спешит с радостью преклонить колена перед кроватью болезненного старца, чтобы принять его благословение, когда видишь, что этот свет-

ский, смелый, остроумный и начитанный сын (и сам уже отец семейства) превосходно читает в скиту шестопсалмие и не смеет выпить чаю перед обедней, чтобы иметь право вкусить антидора{13}; когда видишь их веру и любовь к Церкви и монашеству, то восхищаешься той мыслью, что вот ни образованность, ни начитанность, ни многосложные заботы столичного труда сами по себе ничуть не могут быть препятствием ни горячей вере, ни даже той набожности, которую многие зовут «внешней», но которая неизбежно должна истекать из глубины внутреннего убеждения, если оно сильно, правильно и ясно.

И что такое, скажу еще раз, семья без религии? Даже Герцен, и тот признал, что строгая семья без религии, семья, построенная на одном рассудке и отвлеченном долге (по Пру до-ну и немецкой философии), – это какая-то *ка-торжная* семья.

Я позволяю себе выразиться так: семья рационалистическая вовсе не рациональна. На что мне ее обязанности, если она равно чужда и страху Божию, и всей драгоценной поэзии внешнего культа? Этот последний до того

важен, что я знал русских людей, которые в Бога не верили, но без светлой пасхальной заутрени и без пасхи и красных яиц в семье обойтись не могли и не желали.

Я говорил сейчас про семью счастливую в житейском отношении. И прибавлю еще вот что: если члены этой счастливой семьи находят для души своей полезным общение с монашеством, то что сказать о семьях несчастных, несогласных, бедных, расстроженных?

От скольких бы несчастий, недоразумений, безумств, самоубийств могло бы предохранить людей влияние аскетического учения и вообще то, что можно назвать православной мистикой!

Надо правду сказать, в многолюдном и так и сяк образованном среднем классе нашего русского общества жизнь стала очень теперь тяжела. Физические силы вообще слабы, вещественные условия часто жестоки, потребности и претензии велики, убеждения шатки, правила неясны.

Отчаяние, тоска или озлобление овладевают молодыми умами при первой же встрече с жизнью, при первых препятствиях и неуда-

чах.

Нигилизм – так ясен и так выразителен!

Нигилизм ли наступательный – революция, убийства, смерть на виселице. Нигилизм ли пассивный – револьвер, хлороформ, дигиталин и морфий, – все это прямо, сильно, ясно! Против ясного, сильного и прямого нельзя действовать средствами средними, осторожными и умеренными. Нельзя надеяться на внушения практического рассудка, на родительские и учительские советы своекорыстного житейского благоразумия, на одну долбню классического воспитания, на умеренно «консервативные» статьи газет и журналов.

Против крайнего и прямого нужно другое – крайнее и прямое.

Христианская мистика (я говорю *именно мистика*, а не одна мораль), учение аскетизма, вера в *мою*, в *мою личную* загробную жизнь, учение страха Господня, страха, неизбежно перерождающегося в любовь в сердцах благородных, – это вещь тоже прямая, ясная, сильная. Она может воспламенять молодые сердца, она может покорять характеры сильные и умы независимые!

А не эта жалкая *чистая этика*; не эта презренная и умеренная, немного стоическая, немного эпикурейская мораль – рациональной буржуазности! «Что мне до нее!» – скажет смелый русский юноша, и будет прав.

Я приводил в пример семью религиозную и живущую в согласии и любви.

Но нетрудно вообразить себе и таких супругов, которые оба благочестивы, оба веруют, но не в силах любить друг друга и не могут жить в согласии. Никакой искренний человек не станет уверять, что для семейного согласия и мира достаточно одной религиозности. Это, конечно, была бы бесполезная ложь. Простолюдины наши, например, вообще религиозны. Но много ли в их среде семейств, которые нам покажутся счастливыми? Мы знаем, *что* творится в их семьях! Но, во-первых, в большинстве случаев простолюдины наши представляют собою крайнюю противоположность нашей «интеллигенции». Как бы дурно ни вела себя на практике жизни эта русская «интеллигенция», она все-таки (за последние полвека) привыкла думать больше о *морали*, чем о *вере*; простолю-

дин же русский, наоборот, больше думает о вере, чем о нравственности, из нее истекающей. «Интеллигенция» готова по мере душевных сил своих (весьма, впрочем, теперь незначительных) принимать моральные выводы христианства, но неохотно доверяет его мистическим основам. Простолюдин наш – наоборот; не сомневаясь ничуть в этих мистических основах, он уж слишком мало заботится о моральных выводах. Я не на то указываю, что он дает своим страстям (конечно, более сильным и грубым, чем наши) побеждать свои правила: это случается беспрестанно со всеми христианами без исключения. Все грешны, все должны бороться и все падают! Я указываю на то, что русский простолюдин очень мало *думает* даже о правилах христианской морали. Он ею недостаточно пропитан. Интеллигенция же наша, конечно, более мужика чувствительная к этой морали, слишком отстала от мистических основ ее – и только теперь начинает как будто бы к ней возвращаться.

Идеал же христианства есть гармоническое сопряжение того и другого. Или точнее

сказать: ясное понимание мистики христианской и сердечная ей преданность неизбежно повлечет за собой улучшение и морали.

Светская литература в течение долгого времени приучала общество наше смотреть на брак и семью слишком идеально. *Но романтический и моральный идеализм и христианский спиритуализм – большая разница.* Брак есть духовное таинство, а не достижение сердечного идеала. Последний может легко обмануть, а таинство для верующего человека – все будет таинством. Верующий человек и в несчастливом браке о святине этого таинства не забудет. И если жить вместе станет уже невозможным, то недовольные друг другом, но оба сильно верующие супруга разойдутся по обителям, а не станут ни убивать друг друга, ни развлекаться на стороне. И детям даже, если они есть, – пример будет совсем иной.

Для семьи нужна православная мистика. Она смягчает горести несчастной семьи, она озаряет счастливую семью светом наивысшей поэзии.

Для сохранения основных начал этой ми-

стики, для накопления ее объединяющих преданий необходимы монастыри. Их влияние на семейную жизнь, прямое и косвенное, незаменимо *ничем* – никакой иной педагогией, никакой своевольно-мягкой моралью.

Поэтому хорошо, что столь многие образованные и благовоспитанные девушки и женщины (вдовы или в семье уже слишком несчастные) идут теперь в женские общины; хорошо, что они постригаются; хорошо, что они подчиняются старцам и живут их наставлениями.

Хорошо это не только для них самих, для спасения их собственных душ, – это хорошо и для мирян, это для всех нас полезно, это для целей России благотворно и, усиливаясь, может стать для нее и спасительно, ибо отразится неизбежно на всей мирской жизни.

Честь и слава этим труженицам благого примера. Бремя добросовестного монашества – не легкое бремя. Они сеют, а мы только жнем; мы только «входим в их труд!»{14}.

И это новое движение русских женщин также признак немалого значения!

И оно хотя и не так многоценно, по моему

мнению, как религиозный поворот в умах образованных мужчин, но все-таки свидетельствует сильно о подъеме православных чувств в современной нам России.

Прочно ли все это? Кто знает!

Вера в истину Церкви Божией не требует непременно веры *и в постоянное торжество церкви земной*, «воинствующей», а тем более, когда речь идет об одной местной Церкви, о русской, и даже точнее выражаясь – о русском обществе.

Верить безусловно в прочность и глубину этого прекрасного движения я не обязан (хотя бы и пламенно желал верить); однако, судя по общему ходу европейской истории и особенно по безвыходности мысли западной[3] перед вступлением в новый XX век, можно надеяться, что все большее и большее разочарование наше в этой западной мысли будет много способствовать тому, чтобы *супернатурализм*[4] в умах наших надолго бы взял верх над утилитарной рациональностью, износившейся за сто лет господства.

А в этом-то супернатурализме и состоит вся главная и основная сила движения. Ибо

при расположении ума ко всему сверхчувственному и при возрастающем у нас отвращении к последним плодам всеуравнивающего и всепринижающего прогресса, – церковное учение наше и *настоящая* церковно-христианская мораль (т. е. не оскобленная со всех сторон до мертвенной сухости) найдут себе легкий доступ в русское теплое сердце, не напрасно тоскующее!

# Примечания

## 1

*Аскисис* (или *Аския*) – греческое слово, значит всякого рода *упражнение* (упражнение атлетов, например, или в другом ремесле). Поэтому и упражнение в *духовной, религиозной жизни, подвижничество*. Можно выразиться так: человек посредством постоянных телесных и душевных *упражнений подвигается*, старается *постепенно приблизиться* к религиозному своему идеалу. Это в известной мере доступно и мирянам.

[^^^]

Я говорю здесь не о высшей или *собственно духовной* гордости – это уже не *средняя* немощь, а самый великий и самый опасный по своим последствиям грех. Духовная гордость, т. е. непоколебимая уверенность в своей нравственной чистоте, в своей безгрешности или в своей умственной вечной правоте, – к несчастью, свойственна очень часто людям хорошим, честным и благородным и склоняет их обходиться без Бога или без Церкви. Я не про эту, так сказать, *хроническую* гордость говорю здесь, а лишь про небольшое и минутное движение свойственной всякому человеку потребности хоть сколько-нибудь уважать себя. И, уважая себя как человека, как характер, как ум, за то-то и за то-то, я могу в то же время считать себя перед Богом великим грешником.

[^^^]

Когда речь идет о безвыходности западной мысли во второй половине XIX века, то необходимо прежде всего указать на книгу г-на Страхова – «Борьба с Западом». Я убежден, что тот, кто не прочел внимательно оба тома этого замечательного труда, не может понять, в чем же именно состоит эта безвыходность, с тою ясностью, с которой он поймет это после прочтения. Положим, что и в этой книге, как и вообще в сочинениях г. Страхова, *тоже* нет ясных «выходов в жизнь»; нет никакого положительного, осязательного, так сказать, идеала; но зачем требовать от писателя непременно того, чего он дать не может; гораздо лучше извлечь себе пользу из того, в чем он силен. Г-н Страхов – прежде всего *критик*. И «Борьба с Западом» есть *только* критика почти всех европейских воззрений, систем, идеалов и надежд за последние полвека. Но критика эта превосходна и верна до неотразимости! Перед читателем проходят друг за другом: Фейербах, Дарвин, Ренан, Дж. Ст. Милль, Штраус, Герцен (как разочарованный в Западе – за-

падник), коммунары и т. д. И всюду вывод отрицательный по отношению к тем идеалам, которым Европа так пламенно начала служить с половины прошлого столетия и, по роковой инерции, продолжает на практике жизни служить до сих пор, уже чуя их несостоятельность.

Другого труда в этом роде и близкого по достоинству у нас нет.

Жаль только, что заглавие этой книги крайне неудачно и не соответствует содержанию. Ее нужно бы назвать не – «Борьба с Западом», а – «Самоосуждение Запада». Только один Герцен еще у места при таком заглавии. Если бы вслед за Герценом являлись бы не Ренан, Фейербах и т. д., а Киреевский, Хомяков, Аксаков, Данилевский, Катков (*последнего периода*) и др<угие> русские, боровшиеся в литературе, политике против западных идеалов, то тогда название книги было бы правильно; а теперь оно ошибочно. Но эта беда, конечно, небольшая, и если бы от меня зависело, то я бы *молодых людей прежде всего ее бы заставлял читать!*

Для непонимающих: «супернатурализм» – учение обо всем *сверхъестественном*, вера в *сверхъестественное*. Будет это вера правильная или нет, все равно. Православная или католическая вера в чудеса и таинства, хлыстовщина, мусульманство, спиритизм, вера в домовых, оборотней, ведьм, в колдовство, гаданье – все это одинаково относится к *супернатурализму* и все это, как ни различно, но несравненно лучше, чем *общечеловеческая земная польза* (рассудочный утилитаризм), идеалы которой в том, чтобы *все люди от полюса до полюса стали мирны, образованы, счастливы* и похожи на нынешних западных буржуа.

[^^^]

[^^^]

# Комментарии

## 1

Данная статья К. Н. Леонтьева вошла в цикл «Записки отшельника». Эти статьи опубликованы им в «Гражданине» в 1887–1891 гг., т. е. после того, как, окончательно выйдя в отставку, он поселился у стен Оптиной пустыни. В цикл «Записки отшельника» кроме данной статьи вошли публикуемые в настоящем издании статьи: «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой», «Над могилой Пазухина», «Славянофильство теории и славянофильство жизни», «Владимир Соловьев против Данилевского».

[^^^]

## 2

Мф 23:4; Лк 11:46.

[^^^]

## 3

Мф 6:33; Лк 12:31.

[^^^]

## 4

Жития святых на русском языке, изложенные по руководству Четьих Минея святого Димитрия Ростовского... Книга девятая. Месяц май (М., 1908. С. 518–519).

[^^^]

## 5

Имеется в виду близкий друг К. Н. Леонтьева Анатолий Александрович Александров.

[^^^]

## 6

Речь идет о другом близком друге К. Н. Леонтьева – об отце Иосифе Фуделе.

[^^^]

## 7

Князь Борис Петрович Туркестанов принял постриг с именем Трифон, впоследствии стал митрополитом Дмитровским, викарием Московской епархии.

[^^^]

## 8

Деизм – религиозно-философское учение, отвергающее участие Бога в жизни мира.

[^^^]

## 9

Мк 9:24.

[^^^]

## 10

Мф 11:12; Лк 16:16.

[^^^]

## 11

2 Кор 12:9.

[^^^]

## 12

Этим государственным деятелем был, скорее всего, Тертый Иванович Филиппов, духовником которого являлся старец Оптиной пустыни Амвросий.

[^^^]

Антидор – части просфоры, из которой на проскомидии (первой части литургии, во время которой священнослужители готовят на жертвеннике вещество для преложения Святых Даров во время литургии верных) был вынут святой Агнец (вырезаемая из просфоры четверугольная часть, которая во время литургии верных – в конце евхаристического канона – предлагается в Тело Христова); эти части раздаются в конце литургии тем, кто в этот день не причащался.

[^^^]

ИИ 4:37–38.

[^^^]

[^^^]